

**Т.Шанин**

**ТРИ СМЕРТИ АЛЕКСАНДРА ЧАЯНОВА Московский опыт:  
сентябрь 1987**

---

ШАНИН Теодор — профессор социологии, Манчестерский университет (Англия), ректор Московской школы социальных и экономических наук.

---

**Московский опыт: сентябрь 1987**

Порой личный опыт имеет общественное значение и должен быть зафиксирован. В сентябре 1987 года по приезду в Москву меня пригласили встретиться с Александром Никоновым — президентом Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук (ВАСХНИЛ). Несколько недель тому назад был официально реабилитирован Александр Чаянов и меня просили рассказать по-русски нескольким специалистам о его работах и его влиянии на западную научную общественность. Я согласился. Когда через несколько дней я пришел делать доклад, то нашел аудиторию из шестисот человек, набившихся в актовъй зал Академии, в юсуповском дворце. Президент открыл слушания речью о выдающейся роли Чаянова в отечественной истории — его теории крестьянской кооперации, обращенной к современному кризису на селе и непосредственно к нынешним спорам о перестроечной стратегии преобразования сельского хозяйства. В свою очередь, я говорил о жизненном пути Чаянова, о его исследованиях и романах, о крестьянах и ученых, о стиле и о сути аналитического мышления. Я говорил и о современном сельском хозяйстве и его теориях, о коллективизации и о моделях кооперации, о тех, кто публиковал работы Чаянова в то время, когда у себя в стране он подвергался гонениям. В заключение я говорил о месте и о цене истины в жизни общества и об особом международном братстве ученых — тех, кто посвятил себя делу истины.

Отклик аудитории был не менее восторженным, чем мои собственные чувства. Я произносил свою речь в стенах, где Чаянова арестовали, чтобы увести на смерть. И это я рассказывал им о человеке, которого они теперь почитали как самого талантливого своего коллегу, чье имя передавалось из поколения в поколение шепотом и чьи работы были фактически неизвестны большинству из присутствующих. Сотни рук конспектировали мою речь. Раздавались аплодисменты и восклицания. Сын Чаянова, уже пожилой человек, встал, чтобы поблагодарить меня за то, что я защищал честь его отца. Слезы навертывались на глаза. Вопросы из зала следовали один за другим, не давая мне передышки, — ученая дискуссия набирала обороты. Это было одно из событий ранних дней перестройки — времени надежд и волнений.

Потом нахлынула волна лекций, публикаций о Чаянове. Ученые, журналисты и просто "просвещенная публика" стали говорить о нем и его работах, о его взглядах на сельское хозяйство и о его романах, о его соответствии нынешнему времени. Очень скоро была опубликована и первая биография Чаянова.

Однако от первых переживаний не осталось и следа, а книги этого прекрасного человека, теперь уже доступные, не решают всех проблем. Сам факт, что его открыли и узнали заново (официально и неофициально), даже переживания, с этим связанные, в свою очередь, являются темой для изучения процесса социального знания, и в этом качестве интересны для ученых. В работах Чаянова есть вопросы, еще достаточно

актуальные, не решенные в современном сельском хозяйстве, и более общие проблемы логики общественных "экономик, которые стали "эксплолярными", то есть такими, которые не определяются ни государством, ни капиталом как в России, так и в других странах. Именно это может сделать возрождение Чаянова отличным от "события для газетной шумихи" или злободневного плаката. Несомненно, сам Чаянов приветствовал бы этот быстрый переход восторгов в последовавшие за ними вопросы и, возможно, новые открытия.

Какова структура реального события уничтожения и воскрешения Чаянова? Что оно может дать для понимания всеобщей ментальности социальных наук и для понимания России — сельской и несельской — на новых этапах ее самосознания?

Один из способов ответить на эти вопросы — попытаться представить Чаянова и его манеру анализировать, рассказывая о том, как он трижды умер и официально воскрес. Первый раз Чаянов умер физически, когда его казнили как врага народа за то, что он раскрыл истинные причины сталинской коллективизации. Второй раз от него избавились уже в 50-70-х годах, в период полуправды, прикрывавшей преступные тайны поколения советских управленцев и их прирученной науки. Он умер еще раз благодаря усилиям многочисленных западных теоретиков и практиков, занимающихся крупномасштабным бизнесом "развития", — да, и новых советников российского правительства, равно как и его радикальных критиков из истеблишмента. Все они не просто отвергли идеи Чаянова, но извратили их тривиализацией и тем самым обрекли на прозябание на задворках мысли. Наконец, после официальной реабилитации, он сразу же был "иконизирован" взамен того, чтобы использовать его идеи. Вот почему воскресение Чаянова было одновременно и важно и незначительно, вот почему оно является частью и свидетельством попыток переосмыслить теории социальных преобразований.

### **Московский ученый: 1888 —1931 —1937**

Учитывая, насколько велико число западных ученых-обществоведов, слышавших имя Чаянова, поражает, как мало людей действительно серьезно читали его труды, а не просто пролистали его единственную переведенную в конце 80-х на английский язык работу или же подобрали сведения о нем "из вторых рук". Еще меньше людей знает о том, каким человеком был Чаянов. А об этом стоит узнать, и не только как об "исторической" личности. Его интересы, способы мышления и выводы фактически делают его нашим современником.

Александр Чаянов был ярким представителем блестящего поколения русской интеллигенции начала века. Внук крестьянина, чей сын отправился в город и преуспел там, выпускник тогда еще превосходного Московского университета, он уже в двадцать четыре года стал известен стране своими работами о роли производства льна в крестьянском хозяйстве и о его демографических детерминантах. С этих пор его научные достижения и ученая репутация набирали силу. Но он был более чем специалист-аграрий в стране, где четыре пятых населения зарабатывало на жизнь сельским трудом.

Человек незаурядного ума, воспитанный в лучших европейских гуманистических традициях, к сорока годам он совмещал важную аналитическую работу, полевые исследования и методологические изыскания с написанием пяти романов, "утопии", пьесы, сборника стихов, и неоконченных справочников по западной живописи и истории Москвы. Он говорил на нескольких языках, объездил всю Европу, до и после 17 года. Он был представителем московских интеллектуалов во времена их расцвета, глубоко приверженным делу улучшения жизни простых людей, свободы и

просвещения. Интерес Чайанова к селу был укоренен в его нравственных принципах. Что касается его научных интересов, то мысль Чайанова проникала сквозь дисциплинарные границы между экономикой, социологией, историей, сельским хозяйством, теорией познания и искусством. Особенно он отличался невероятной силой дисциплинированного воображения и умением выражать его в словах; он обладал выдающейся и оригинальной способностью создавать модели — соединять в своих работах научные и художественные достижения, оставаясь теоретиком и лидером в своем кругу.

С 1919 года, уже при новом советском режиме, Чайанов возглавлял "Семинарию" общественных наук (позже — институт) в рамках Академии сельскохозяйственных наук. Он никогда не присоединился к новому политическому истеблишменту и оставался самим собой, что потом называлось "беспартийный эксперт". Его научная работа процветала: в течение какого-то десятка лет были осуществлены его главные исследования и написаны все его романы. В 1930 году, в возрасте 42 лет, Чайанов был уволен с должности директора института, а через год арестован за государственную измену и саботаж в сельском хозяйстве. После положенного срока в тюрьме — ссылка, спустя год — снова арест. В 1937 году Чайанов был казнен (долгое время семья считала, что его расстреляли в 1939). Его жену заставили развестись с ним и взять другую фамилию, но это не спасло ее от ареста и ссылки, откуда она вернулась только после смерти Сталина. Один из сыновей Чайанова погиб, защищая Москву (он ушел на фронт добровольцем, несмотря на слабое здоровье). Его второй сын — Василий — воевал, вернулся с войны в орденах и медалях и сейчас живет с детьми и внуками под Москвой в доме, построенном самим Чайановым — замечательный символ преемственности.

Чтобы узнать, кем на самом деле был ученый, и определить его социальную роль и значение, иногда лучше всего установить, за что его преследовали. "Вина" Чайанова — теория дифференциальных оптимумов и вертикальной кооперации, содержащая программу преобразования советского сельского хозяйства, а также неявное, но достаточно обоснованное осуждение сталинской программы коллективизации.

### **Большевистская теория прогресса против теории вертикальной кооперации: ученого заставляют замолчать**

К середине 20-х годов основными социальными организациями в российской деревне, выжившими и даже процветавшими вне непосредственного государственно-партийного контроля, были семейные крестьянские хозяйства и коммуны. Контролируя практически всю землю, утвердив в форме государственного закона (Земельный кодекс 1922 года) свои требования и обычаи, российские крестьяне в период НЭПа получили почти все, за что боролись в ходе революций и гражданской войны. Но они понимали, однако, что государственная власть принадлежит не им. В напряженности между монополизированной политической властью на общегосударственном уровне, находящейся в руках большевистской верхушки, и фактической сельской властью на местах, в разделении экономических ресурсов между контролируемой государством промышленностью и сельскими мелкими хозяевами выражались главные противоречия советского государства в 20-е годы (на идеологическом языке того времени это называлось "вопросом спайки города и деревни").

Столкнувшись с НЭПом, советские государственные лидеры и идеологи, выступавшие в образе "ортодоксальных марксистов", определили соответствующую стратегию в отношении села. Она исходила из социальных законов, касающихся прогресса, масштабов экономического роста и капиталовложений, взаимосвязанных в

своей логической последовательности. Социальный прогресс с необходимостью определялся ростом промышленного производства и энергоемкости. Крупные производственные единицы рассматривались как безусловно более эффективные и, кроме того, отвечавшие требованиям пролетаризации и политической символики. Естественно, и перевод производства на пути, ведущие в социалистическое будущее, с необходимостью увязывался прежде всего с укрупнением масштабов и увеличением капиталовложений. Откуда-то надо было брать средства для этих капиталовложений, и расплачиваться оставалось крестьянам. Сущностные характеристики крестьянства, его мелкобуржуазный характер — мелкое, неиндустриальное хозяйство, а потому реакционное и утопическое — делали его исчезновение и неизбежным, и желательным. Раскрестьянивание стало соответственно надежным показателем прогресса, то есть прекрасного мироустройства, уже наступающего (но не прежде, чем крестьянство выполнит свою социальную функцию обеспечения индустриализации ресурсами на стадии "примитивного накопления социалистического типа").

Несмотря на поразительную близорукость этой модели, не признававшей сложности и игнорировавшей внеэкономические факторы, равно как и долгосрочные результаты подобной стратегии ("захватить и разрушить") социального преобразования, — эта модель стала более вероятной, благодаря опыту, как казалось, перенесенному из индустриального Запада, благодаря ранам, нанесенным войной, и что весьма важно, благодаря качествам большевистских партийных "кадров" среднего и низшего звена — станового хребта советского партгосударства. Горькое разочарование нарастало у этой группы людей, загруженных плохо оплачиваемой работой и сталкивающимися с трудностями повседневного управления, которому они были плохо обучены, с нехваткой ресурсов и упрямством крестьян, тогда как требованиям "из центра" не видно было конца-края. Общее настроение советских чиновников низшего уровня, членов партийных и комсомольских ячеек на местах, впоследствии непосредственных коллективизаторов — это злобная убежденность в том, что крестьянам слишком хорошо живется. То же самое они чувствовали и в отношении российского образованного среднего класса (вернее, того, что от него осталось) — этих любителей длинных предложений, произносимых с чувством собственной важности, которые увековечивают бесконечные сомнения и красиво живут. Словесные увертки экспертов и осмотрительность ученых выглядели как неповиновение, если не как явный саботаж, тогда как каждый день требовал простых решений и революционной отваги ("как в 1919 году"). Времени было мало, трудностей много, могла начаться война, а коммунизм все еще далеко. Представлявшаяся возможность большого скачка с легкостью прельщала людей, привыкших во времена гражданской войны и военного коммунизма к кавалерийским атакам и предвкушавших новый Иерусалим, который, как казалось, уже где-то здесь, за углом.

Однако дело было не просто в настроениях и восприятиях. Мечта о большом скачке вперед выражала и высвобождала потаенные амбиции нового поколения партийных активистов, которые вышли на арену слишком поздно, чтобы потрясать революционными заслугами в оправдание своего высокого статуса. Не было у них и достаточного образования, чтобы стать "спецами". Бравая армия сторонников и почитателей Сталина, исполнителей и палачей, партийцев низшего и среднего звена состояла в основном из крестьянских сынов, набранных туда через военную службу или комсомол. Деревенский парень, выдвинутый комсомолом и не желающий после службы в армии возвращаться к повседневной канители в отцовском хозяйстве, имеющий лишь несколько классов школьного образования и овладевший словарным минимумом марксистских фраз, но обладающий неумемной энергией и некоторой смекалкой, — вот типичный ее представитель. Они были молоды, дерзки, не очень

грамотны и очень болезненно это осознавали. Люди с таким складом ума больше всего ценят лояльность, послушание, строгий порядок и простые решения, которые можно увидеть и потрогать. Кроме того, революционный подъем только теперь начал достигать самых глухих уголков огромной страны и зажигать молодые сердца огнем нового мессианства и больших надежд. Наибольшее неудовольствие молодых кадров вызывали крестьяне (тупые, медлительные, ведомые наиболее сообразительными) и интеллигенты (слишком умные). Чтобы повысить авторитет страны и самим продвинуться, им нужно было подчинить себе первых и заменить последних "верными товарищами" (в том числе из собственных рядов). Каждый уволенный "спец" или "вычищенный" "старый революционер" — это еще одно место на вершине власти, другими способами недоступное. Сталинизм 30-х годов для многих был не столько капитуляцией перед страхом, сколько политической установкой, истинность, равно как и личная выгода которой ощущались интуитивно. Сочетание жесткого радикализма, всеобщего повиновения и карьеризма сформировало новые кадры Коммунистической партии, новый тип социальной мобильности и новую политическую иерархию для будущего СССР.

Столкнувшись с новым политическим истеблишментом, его идеями, устремлениями и настроениями, Чаянов изложил в полном объеме свои основные соображения относительно будущего советского сельского хозяйства в книге "Основные идеи и формы организации сельскохозяйственной кооперации" (более точно — "Теория сельскохозяйственных кооперативов", под этим названием она и была опубликована в 1927 году). Коротко, основная идея состояла в следующем. Чаянов был согласен с тем, что крестьянское хозяйство и сельское общество СССР конца 20-х годов нуждались в значительной реконструкции, чтобы подняться на современный уровень. Он соглашался и с формальными целями сталинской программы коллективизации, но предлагаемые методы считал неверными по всем параметрам: увеличение размеров и механизация производственных единиц якобы должны были гарантировать достижение высокой производительности и благосостояния на селе, а социальная справедливость и равноправие должны были наступить с уничтожением сельских эксплуататоров — кулаков. Чаянов утверждал, что укрупнение производственных единиц не ведет с необходимостью к росту сельскохозяйственного производства. Развивающееся общественное разделение труда в основном принимает форму выделения и специализации какого-либо его аспекта и занятых в сельском хозяйстве при возможном избирательном увеличении размера производственной единицы и капиталовложений, отражая тем самым наилучшее использование ресурсов — "вертикальную" сегментацию, соответствующую дифференциальным оптимумам. В то же время укрупнение всех производственных единиц может фактически снизить продуктивность в целом. "Только большое" также плохо, как и "только малое", если речь идет о сельском хозяйстве. Кроме того, для крупномасштабных хозяйств, созданных в одночасье, на местах не нашлось бы руководителей, способных ими управлять, управленцев пришлось бы "импортировать", они не имели бы корней и специфического знания местных условий хозяйствования. Они были бы также полностью связаны и зависимы от государственного аппарата — бюрократического, отстраненного и с необходимостью репрессивного. Нет оснований полагать, что эти новые управленцы на местах в большей мере соответствовали бы идеалу "равенства" или меньше эксплуатировали, чем прежние эксплуататоры. В основном же, самоуправление в деревне и особая продуктивность экосистемы связаны с относительным благосостоянием. Крестьяне знают об этом. Их сопротивление политике и декларациям, противоречащим их собственному повседневному опыту, было бы столь же ожесточенным, сколь и разрушительным для сельскохозяйственных

ресурсов, которые коллективизация якобы стремилась приумножить.

Альтернативная программа Чаянова по преобразованию сельского хозяйства страны состояла в развитии смешанной кооперации снизу, среди мелких хозяйств (он называл это "вертикальной кооперацией" и "кооперативной коллективизацией"). Программа основывалась на его исследованиях реального кооперативного движения в России в 1910-14 и 1922-28 годах, а также спонтанных процессов, которые он называл "вертикальным разделением труда" среди связанных с рынком крестьян, когда некоторые стороны их наиболее выгодной экономической деятельности выхватываются предпринимателями со стороны. Кооперативное движение рассматривалось как демократическая альтернатива специализации (когда контроль переходил в руки предпринимателей со стороны) и застою, а также государственной централизации. Наилучшее решение проблемы увеличения производительности сельскохозяйственного труда в России, по мнению Чаянова, — в гибком сочетании крупных и малых производственных единиц, определяемом различными оптимальными размерами в каждой отдельной отрасли (производством яиц, скажем, занимается семейное хозяйство, фуражом — вся деревня, лесным хозяйством — объединенные в одну производственную единицу несколько специализирующихся на этом деревень и т. п.). Смешанное производство означало бы также, что корма, например, наиболее эффективно производимые в больших и механизированных кооперативных хозяйствах, могут быть использованы семейным хозяйством для производства молока, которое затем перерабатывается кооперативно управляемой местной маслобойней и продается в город или за рубеж региональным торговым кооперативом. Чтобы структурировать эти сочетания производственных единиц и сохранить их демократический характер, Чаянов поддерживал многоуровневое кооперативное движение, кооператив кооперативов, организованный "снизу" и развиваемый, но не управляемый государством. Доминирование социалистических установок в стране, как считал Чаянов, могло бы обеспечить развитие, такой сельской кооперации.

Согласованная с крестьянским опытом, использующая крестьянские институты, широко открытая для крестьянской инициативы и притока крестьянских кадров, эта программа была бы приемлемой для сельских сообществ и способной собирать их силы для преобразования деревни. Важно, что программа Чаянова отражала социальную реальность. На протяжении 20-х годов в советской деревне развивались и распространялись многочисленные кооперативные хозяйства. Организованные на дореволюционной основе, укорененные на местной почве благодаря замечательным приверженцам этой формы хозяйствования, тысячи кооперативов по снабжению, торговле, кредитованию и производству объединяли к 1928 году более половины сельского населения. Сеть кооперативов продолжала расширяться и становилась "все более густой", пока они не были выкорчеваны коллективизацией.

Массовость распространения кооперативов, а также научный статус Чаянова объясняют, почему именно его вариант стратегии преобразований на селе был принят бухаринским крылом руководства Коммунистической партии и, по всей видимости, включен в первоначальный вариант плана первой пятилетки (подготовленный под руководством выдающегося русского экономиста-марксиста, но не большевика, В.Громана и отклоненный Сталиным в пользу собственного варианта с его сверхцифрами, совершенно оторванными от происходящего). Печальная история разгрома бухаринской оппозиции и физического уничтожения ее сторонников, как и всех ведущих советников-экономистов, хорошо известна.

Анализ Чаянова, непосредственно поставивший под сомнение путь, которым фактически пошла коллективизация, и ее официальное узаконивание, опирался на

данные, накопленные выдающимися исследователями села в России. Ничего лучшего по этому вопросу не было. Видимо, именно поэтому и анализ и результаты обширных наблюдений 20-х годов стоящие у власти просто отмели, обвинив Чаянова и его единомышленников в лицемерии, в том, что на самом деле они не хотят реформ на селе. Сам Чаянов подвергался злобным нападкам за якобы защиту сельских эксплуататоров, ему приписали создание подпольной контрреволюционной Трудовой крестьянской партии (ТКП), которой никогда не существовало. Истинная же причина "напускания тумана" и ожесточения, с каким затем осуждалась "чаяновщина", заключалась в том, что доводы ученого приподняли завесу с главной тайны и действительного лицемерия: сталинская программа коллективизации на самом деле не преследовала провозглашенных в ней целей; "во имя прогресса" фактически стремились сломить социальную силу крестьян, "перекачать" их ресурсы в индустриальное строительство, в армию и на нужды государственно-партийного аппарата, который многое воспринял в своих действиях по отношению к сельским производителям от раннего колониализма в его самых хищнических и самых неэффективных формах.

### **Вторая смерть Чаянова на советской идеологической сцене: 1960-е-1985 годы**

Когда в середине 50-х годов новые правители СССР начали инвентаризацию действительного сталинского наследия, им не понадобилось много времени, чтобы установить, что сельское хозяйство и сельское общество находятся в крайне плачевном состоянии и тормозят развитие страны. Последствия войны 1941-45 годов, какими бы тяжкими они ни были, не объясняли этого состояния. Не улучшила его и послевоенная реконструкция. Все последующие лидеры СССР — Маленков, Хрущев, Брежнев — должны были уделять много внимания и много слов "дальнейшему улучшению", то есть продолжающемуся кризису в сельском хозяйстве. Теперь в него вкладывали огромные ресурсы, и все же к 1970-м годам страна все еще импортировала продовольствие. За исключением ручного труда, село практически не обеспечило даже предполагаемого "накопления капитала" для индустриализации в 30-е годы. Позднее, особенно с 1960-х годов, сельское хозяйство все больше становилось тяжелой обузой для благосостояния страны и ее экономического роста. Хуже того, стали сказываться и долгосрочные отрицательные последствия сталинской коллективизации: экологический упадок, демографический кризис, селективная миграция, опустошающая деревни, депопуляция целых сельских районов (например, северной и центральной европейской части России). Сверхурбанизация 60-80-х годов дала результаты, противоположные наиболее эффективным социальным решениям, и породила много новых социальных болезней, которые обычно ассоциируются со странами третьего мира.

Чем более явными становились неудачи государственной политики в разрешении сельских проблем, тем сильнее обострялись политические моменты этой политики. Хрущев лишился своего места, когда провалилась его "кукурузная программа", а в крупных городах уже стали выстраиваться очереди за хлебом. Брежнев разорил Сибирь, обменивая ее богатства на импортное зерно. Горбачев призвал к перестройке коллективизированного сельского хозяйства методами, полностью подтверждающими анализ и предложения Чаянова. В 1987 году было заявлено, что первым шагом реформирования экономики должен стать прорыв в сельском хозяйстве: или это будет опорой перестройки — или последует ее провал. Провал следовал за провалом. Однако это не просто печальная история о том, как возобладала истина, наука нашла подтверждение в жизни, но от этого ничего не изменилось. Вопрос в том,

почему ничего не изменилось?

Но ему предшествует вопрос о том, что заставило замалчивать Чайновские идеи и его анализ коллективизации в течение тридцати лет после смерти Сталина, тогда как аграрный кризис углублялся и становился все более трудноразрешимым. Новые руководители по крайней мере дважды предпринимали попытки экспериментировать с экономическими реформами. Текстильная промышленность и городская жизнь стали налаживаться, и на этом фоне еще отчетливее проявилось бедственное положение сельского хозяйства и деревенского быта. Снабжение продуктами становилось все хуже и хуже; известная в то время в Москве шутка про ребенка, который сообщает, что родителей нет дома: папа улетел на луну, а мама стоит в очереди за сахаром — говорит обо всем. Однако требований со стороны советских ученых в полной мере переосмыслить проблемы села (и прошлые и настоящие) в 1950-70-е годы (еще до того, как такие дискуссии опять стали маловероятны в позднебрежневский период), не последовало. Несколько на редкость удачных самостоятельных экспериментов с альтернативными методами управления сельским хозяйством, проведенных на местах, тогда фактически подавили, и зачастую весьма жестоко. На фоне всего этого Чайнов был "реабилитирован", но лишь частично — с него было снято основное обвинение 1937 года, но не опровергнута клевета 1928-33 годов и приговор. Его работы не были запрещены; его имя теперь упоминалось, но только негативно — как представителя мелкобуржуазного утопизма, опровергнутого блестящим развитием советского колхозного строительства.

В индийской культуре касту браминов называют "дважды рожденными". Ученого можно убить дважды — физически и полностью предав забвению его наследие. Этот второй тип смерти, видимо, большинство ученых страшит больше. Почему же, несмотря на многочисленные свидетельства правоты Чайнова, он был приговорен к забвению своими коллегами и политиками первого постсталинского поколения? Можно поставить вопрос иначе: почему вплоть до 1987 года (примерно) не было и намека на основательный пересмотр всей системы сельского хозяйства, сформированной сталинской коллективизацией (вместо бесконечных дебатов о том, как заставить ее работать, несмотря на постоянные провалы)?

Социальный контекст, общественное настроение и социальные носители "великого замалчивания" существенно отличались от социального фона убийства Чайнова. Политическая структура страны теперь была (в течение какого-то времени) безопасно монолитной. Общие экономические условия, хотя и медленно, но улучшались. Период романтизма закончился, в моде был рационализм и наука. На трибуне Мавзолея во время парадов молодежь и полувойенные одеяния сменились пожилыми приземистыми толстяками, костюмами и "эполетами". Внимание "партийных кадров" все больше сосредотачивалось на приумножении личного благосостояния. Автомобиль с шофером и заграничные поездки стали новым атрибутом власти для руководителей среднего звена. Административная иерархия все больше обживалась выпускниками университетов, на профессиональную экспертизу стали молиться, а работа в многочисленных исследовательских институтах хорошо вознаграждалась. Было даже разрешено до некоторой степени спорить, однако нежелающие "строиться в шеренгу" уже расплачивались за это лишь перспективами продвижения ("как и на Западе"), а не тюрьмой или смертью.

Тем, кто ожидал внезапного расцвета рационализма и критического анализа со стороны более образованных и благополучных представителей новой элиты, чувствовавших себя свободнее, благодаря приверженности правительства социалистической законности, пришлось разочароваться. Радикальному пересмотру сельскохозяйственной политики, возрождению идей и теоретических достижений 20-х



годов препятствовала прежде всего власть поколения политиков, достигших полной зрелости и ставших большинством в 1950-70 годах. Юные коллективизаторы 50-х, пережившие чистку 1937 года, которая зачастую способствовала их продвижению, были теперь на вершине многих властных структур и системы покровительственных связей. Любая точка зрения, любое имя, указывающие на то, что коллективизация — это нечто глубоко неправильное, бросали тень на их политические биографии и ставили под сомнение законность их власти. И это не ограничивалось только "политическими начальниками". Высокопоставленные заангажированные ученые так много чувства вкладывали в свои объяснения и оправдания на протяжении десятилетий, что это еще больше подчеркивало их оборонительную позицию. Ибо кому захочется, чтобы студенты называли тебя обманщиком, или оказаться припертым к стене тем фактом, что твоя собственная трусость способствовала настоящему кризису и, возможно, убийству "Чаяновых" из твоего поколения? Те немногие, кто настаивал на критическом подходе, могли быть оттеснены с помощью партийных надзирательных отделов, дирекций институтов, редакторов журналов и цензоров Главлита. В худшем случае им грозило полное изгнание из печати, запрет на работу со студентами и на заграничные поездки. Молодежи могли объяснить, какие взгляды заслуживают продвижений, и, если нужно, вколачивать в их головы идею послушания.

Но было в этом и нечто большее, чем железная хватка сталинского поколения. Это нечто — сила интеллектуальной инерции бесконечно повторяемой мертвой идеи. Изменилась страна, носители политической власти и организованного знания, но остались незыблемыми все мировоззренческие догмы сталинского поколения относительно прогресса (как правило, неточный пересказ дарвинизма Карла Каутского и Фридриха Энгельса и позитивистской эпистемологии). Пока это общее мировоззрение заполняло собой все доступное интеллектуальное пространство, сама логика и "научность" анализа порождали заблуждения в отношении советского сельского хозяйства (и, конечно же, не только в этом отношении).

Средоточием этого мировоззрения было положение об иерархии форм экономической организации: на первом месте — государственная экономика как синоним социализма, затем — контролируемые государством кооперативы как менее выраженная форма социализма, семья как экономическая ячейка (с присоединяемым к ней необоснованным термином "мелкобуржуазная") и, наконец — капиталистические предприятия, "эксплуатирующие наемный труд ради частной прибыли". Такой взгляд вполне устраивал государственную бюрократию, одержимую идеей партийно-государственного контроля. Даже когда под некоторое сомнение была поставлена сверхцентрализация (при Хрущеве), идеологическая иерархия предпочтений в отношении села осталась непоколебимой. Этому способствовала дополнительная, не сформулированная явно иерархия, которая упорядочивала все отрасли производства не в соответствии с производительностью, социальными характеристиками или потребностями, а в соответствии с тем, что можно описать скорее как эстетические и символические признаки. На вершине ее располагалась тяжелая промышленность, у самого основания — сельское хозяйство. (Подобная же иерархия воспроизводилась и в собственно сельском хозяйстве: на вершине престижа и оплаты — естественно, тракторы, непосредственно земледелие — внизу).

Эти иерархии воплощались в догмы, проповедуемые в начале коллективизации и живучие до сих пор. Индустриализация, рассматриваемая как крупномасштабная промышленность, все еще считалась единственным способом сделать страну богатой и могучей, "все остальное" было обречено соответствовать этому идеалу или же исчезнуть. Индустриализация стала основным показателем развития социализма. "Большое" было прекрасно и, несомненно, более продуктивно, чем "малое". По-

прежнему существовала одна-единственная дорога прогресса, то есть добра, и, хотя были признаны некоторые ошибки прошлого, СССР оставался ведущей страной в мире, демонстрирующей миру его будущее. Существовало также положение о "первичном социалистическом накоплении", с необходимостью предшествующем славному индустриализированному будущему. Это понятие, настроение и моральное суждение давало модернизаторам особое право идти по головам людей ради них же самих.

Однако, помимо этого сочетания людей и идей прошлого, существовали и другие силы, препятствующие пересмотру системы сельского хозяйства. Способность развивать и применять эти идеи в новых обстоятельствах проявляется в отношении к реалиям настоящего. Отстаивание сталинской коллективизации (имя Сталина теперь, как правило, опускалось) вполне сочеталось с системой централизованной и бюрократической администрации. Быть хорошим гражданином и разделять социалистические убеждения означало выполнять приказы сверху, подозрению подвергалось все, что напоминало децентрализацию или образование центров власти на местах. Наиболее вероятным способом разрешить проблемы сверхцентрализованного сельского хозяйства, согласно этой системе, было не переосмысление и перестройка его структуры, но еще большая централизация: укрупнение колхозов, превращение их в статичные единицы, ликвидация малых деревень и т.п. В трудном положении можно было также попросить увеличить поступления ресурсов из централизованных источников. "Не надо раскачивать лодку" — таково было основное предчувствие и "потребность", ощущаемая всей бюрократической системой; не доступная критике власть рассматривалась как необходимая составная часть бесперебойного социального функционирования; вина перед теми, кто был подвергнут чисткам, боязнь признать собственное молчаливое согласие, отступнические ухищрения, малые и большие преступления составили мощную эмоциональную основу этой системы. Именно сочетание интересов и чувств, ресурсов и контроля, циничной лжи и толики здравого смысла позволило аграрной системе пережить тридцать лет после смерти Сталина без изменений, двигаясь тем временем к тому состоянию, в котором она сейчас находится.

### **"Свободный мир": представления, границы и пределы**

Объясняет ли все вышеизложенное причины того, что соображения и программа Чаянова были "положены под сукно"? Не совсем, поскольку некоторые из основных проблем аграрной политики, поставленных советским опытом коллективизации, возникали и за пределами, подконтрольными советской бюрократии и науке. Поэтому объяснение должно содержать нечто большее, чем хитросплетения и динамика власти советской правящей верхушки. Или же, персонализируя постановку вопроса, можно сказать, что Чаянов умер в третий раз в западных официальных "теориях развития" 1960-80 годов, относящихся к третьему миру, равно как и в альтернативах радикальных критиков этих теорий, пока властью Международного валютного фонда эти споры не были отодвинуты на второй план. На Западе никого не арестовали и не уволили из-за Чаянова. Его книга, переведенная на английский в 1966 году, стала событием, но вскоре была окружена молчанием. Хуже того, на Западе суждения Чаянова постоянно неверно интерпретировались (не так прочитаны или недочитаны?) теми, кто вообще на него ссылался.

Чтобы понять, о чем идет речь, мы должны отступить в наших рассуждениях от простой причинно-следственной связи (страх диктует послушание и личный интерес заглушает возражения) и обратиться к идеологии — согласованному и рационально

установленному неправильному пониманию, или когнитивному параличу, вызванному неверными словами и представлениями. Ибо на Западе и в интеллектуально зависимых от него культурах тоже присутствовали некоторые положения и политика, которые так часто ассоциируются со сталинским террором и постсталинской советской бюрократией. Не кто иной, как шах Ирана и его чиновники создали коллективный бонэ в Фарсе и государственные фермы в Хузистане, то есть модели, практически аналогичные советским колхозам и совхозам и благословленные там американскими экспертами и советниками. Ясно, что речь не идет о чем-то явно коммунистическом или особо марксистском, когда мы рассматриваем такого рода организации. Позднее в Африке поклоняющиеся государству националисты Туниса создали свой собственный "колхоз", а эфиопы — коллективы военного режима. Так называемые крестьянские кооперативы в Эквадоре или в Египте, которые, как правило, являются не крестьянскими и не кооперативами, а государственными институтами, контролирующими поступления и отдачу и навязанными податливым крестьянам официальными властями, также оказались весьма похожими на колхозы, равно как и реалии Уджамы в начале "популистского" режима в Танзании. Есть также и определенная последовательность в неудачах достичь официально провозглашенных целей в рамках каждой из этих моделей. Если не обращать чрезмерного внимания на ярлыки, то в современных "теориях развития" можно обнаружить многое из советских дискуссий по аграрному вопросу и от его сталинских и брежневских решений.

Едва ли когда-либо реальные уроки советской коллективизации и критика ее Чаяновым принимались во внимание в "развивающейся" части "свободного мира". Если Чаянова и цитировали в работах по "теориям развития", то, как правило, его имя использовалось в качестве синонима теорий "малое прекрасно" и ничего общего с ним не имеющих программ, то есть его считали сторонником малых хозяйств как таковых. Эта карикатура зачастую использовалась как антимодель (или "боксерская груша") рьяными защитниками капиталистического прогресса либо государственного вмешательства — "социалистического" или "несоциалистического". На самом деле Чаянов не противопоставлял "малое" "большому", он лишь возражал против формулы "большое прекрасно" (которая звучит поразительно современно, если взглянуть на социальные и экономические теории 90-х годов). Его стратегию развития, основанную не на мечтаниях, а на доскональном знании сельского хозяйства и сельских социальных отношений по всей Европе, можно назвать "сочетаемое прекрасно". Не был он и "популистом" — ни по партийной принадлежности, ни по собственно политическим взглядам, если речь идет о российских популистах (скажем, их вере в исключительные качества русской общины). Ярлык "неопопулиста", который ему навесили его недруги, сродни карибской крестьянской поговорке: "человека называют собакой, чтобы повесить его" Действительный же вклад в науку Чаянова мог бы спасти многие объекты "политики развития сельского хозяйства" во многих странах мира от бедствий и разрушений.

По крайней мере, четыре фактора способствовали постоянному недопониманию (или неправильному прочтению) работ Чаянова, дабы отвергнуть их в академических сообществах "первого" и "третьего" мира.

Во-первых, существовало предположение об архаичной природе семейного хозяйства, а посему и о необходимом его исчезновении. Это положение было встроено в теорию прогресса, воспринимаемую как само собой разумеющуюся большинством современных ученых-обществоведов. Семейное хозяйство рассматривалось как пережиток прошлого в силу распространения индустриализации, начиная с XIX века; все прочее — включая опыт так называемых неформальных или эксплоярных хозяйств, а также преобладание мелкомасштабного фермерства в Европе — отметалось.

Крестьянское хозяйство с особым рвением вытеснялось в "ортодоксальных" марксистских теориях, характеризовавших его как "мелкобуржуазное" (тут сразу два отрицательных значения — и "капиталистическое", и "отсталое"). Было гораздо проще, чем вникать в теоретические выводы Чаянова о том, что семейное хозяйство не является капиталистическим и непременно малоэффективным, закрепить за ним ярлык "любителя мелких собственников".

Во-вторых, долгое время держалась монополия общегосударственных моделей политической экономии, их дедуктивной логики — "сверху вниз", распространяемой на все производственные единицы, действующие в их контексте. Это использовалось как окончательное объяснение всего и вся. Чаяновское же эпистемологическое искусство — его попытки построить экономическую модель "снизу" — для понимания многих оказалось слишком сложным.

В-третьих, сведение всей сельской жизни к экономической модели идет вразрез с методом Чаянова и его сторонников, поставивших под сомнение признанные дисциплинарные границы. История, социология, агрономия, экономика соединялись для них в единое целое, когда речь шла о реальной жизни крестьян. Чаянов называл это целое "социальной агрономией". Опять же для многих современных экспертов, знающих все больше и больше о все меньшем и меньшем, это было слишком сложно понять.

Наконец, те, для кого государственное планирование или свободный рынок являются — взаимоисключающим образом или в сочетании — единственно возможными формами социального функционирования, сочли неприемлемой точку зрения Чаянова, рассматривавшего стратегии семейного хозяйствования как пример дискретной операциональной логики. Соответственно им, как правило, не удавалось понять, что Чаянов никогда и не предполагал в действительности полной независимости крестьянских хозяйств от экономики в целом (модели, конечно, — другое дело). Это они не считались с его теориями, он же никогда не игнорировал существо их теорий — будь то рыночная экономика, новые технологические достижения или место капитала и наемного труда в крестьянской жизни.

### **Крестьянские вопросы и "постмодернистская" эпистемология**

Прежде, чем обратиться к вопросу о современности взглядов Чаянова, подытожим уроки его "тройной смерти".

Во-первых, репрессивные диктатуры, маскирующиеся под "социалистический рай", явили свое истинное лицо в политике и идеологии государственной централизации и дегуманизации социальных наук, которые были полностью бюрократизированы, претендуя на полную "объективность". Усомнившиеся считались врагами, а самые пронизательные критики поплатились своей жизнью. Наука и диктатура — две вещи несовместные, по крайней мере, в долгосрочной перспективе. Чтобы успешно функционировать, диктатурам надо держаться не только на силе и страхе, но и разрушать альтернативы, из которых может прорасти оппозиция и надежда на перемены.

Во-вторых, вероломные политики, стремящиеся контролировать и эксплуатировать свой народ, никогда не являются единственными агентами репрессивного аппарата. Его идеологизация, осуществляемая официальными интеллектуалами и институтом организованной науки, имеет свою логику, власть и движущие силы, свои способы контроля и эксплуатации. И их следует учитывать, когда речь идет о понимании и недопонимании. Как утверждает Кун, в сообществах ученых существуют консервативные парадигмы и заданные ритуалы восприятия, но

надо помнить и о коррупции посредством привилегий и об иерархиях власти, лежащих в основе ученой лжи и самообмана.

В-третьих, существует неявная связь идеологического характера между злодействами сталинизма и многими благими советами западных специалистов, занимающихся "мирами", отличными от их собственного. Идеологическая сущность этой связи, проявляющаяся в анализе, эмоциях и в научных предвосхищениях, выражена в современных вариантах эволюционизма, оформленных в теорию прогресса, или модернизации. Даже очищенная от наслоений прошлого, эта теория оставляет право на высокомерную бесчеловечность, одной из основных жертв которой стали крестьяне ("ради их же собственного блага", конечно).

Все это объясняет значение работ Чаянова для "крестьяноведческого" прорыва в англо-саксонской научной литературе 60-70-х годов; в них содержался аналитический подход, который можно представить как Крестьянский вопрос в его собственной постановке. В значительной мере можно проследить теоретическую преемственность между идеями Чаянова и его друзей и аналитическими достижениями 60-70-х годов. Средоточием этой преемственности является отказ от деконцептуализации крестьянства и сведения его к чему-то второстепенному. Все внимание в этом подходе было сосредоточено на особенностях семейного хозяйства как социо-экономической единицы, на специфических характеристиках сельских обществ и способах их преобразования. Этот подход предполагал

также необходимость для их понимания некоторых разумных аналитических структур. Богатая традиция Крестьянского вопроса порождала с течением времени важные идеи, связанные с некоторыми более общими эпистемологическими проблемами. Идеям Чаянова следовали, их развивали (зачастую открывали заново), когда дело касалось особых, дискретных и параллельных, но и взаимосвязанных способов хозяйствования, которые не разрушали друг друга, а постоянно комбинировались. То же самое можно сказать и о восприятии социальной экономики "снизу вверх", и о фундаментальной междисциплинарности понятия "социальная агрономия", и об особом недетерминистском понимании социальных структур, которое, как это ни парадоксально, напрямую связывается с современными дискуссиями о постмодернизме и с математическими теориями хаоса. Чаяновский подход является весьма ценным вкладом не только в общую теорию, но и в анализ современного индустриального и постиндустриального общества (это касается, например, "неформальных", или "эксполярных" экономик, особой роли труда в семейном хозяйстве, децентрализованной, но при этом интегрированной организации производства и т.п.). В сфере идеологии самой сильной стороной Чаянова была его идея кооперативного движения как одного из вариантов "социализма снизу", децентрализованного и коммунализованного, но в то же время и экономически высоко эффективного.

Именно поэтому, подводя итоги недавнего прошлого (кажущегося, однако, уже архаикой), когда Чаянов все еще был "не лицо" в России, но собирался вот-вот стать ее любимым сыном, можно сказать: в наше время все еще существуют сотни миллионов крестьян, и в 2000 году их может быть не меньше, но парадоксально, что основные методы и идеи Чаянова могут оказаться особенно плодотворными для стран с малочисленным крестьянством, как и с малочисленным "классическим" промышленным пролетариатом. Но при этом объект особого интереса Чаянова — русское крестьянство — почти исчез...

### **Современные споры о сельском хозяйстве и "иконизация" Чаянова**

Если мы говорим о современности Чайнова, то каково было действительное влияние его "воскрешения" в СССР, начиная с 1987 года? Короче, как оно вписалось в "споры по аграрному вопросу"? Как уже отмечалось, Горбачев провозгласил, что резкое улучшение дел в сельском хозяйстве будет первым практическим изменением, которое должно означать общий экономический успех перестройки, ее начало в каждом хозяйстве. Именно в этой сфере перестройка должна была выдержать или не выдержать испытание, результаты которого могли быть признаны всеми советскими людьми, утвердив общественное доверие к реформаторам. Перестройку — и соответственно ее авторов — постигла неудача. Радикальные реформаторы 1980-х годов извлекли шесть основных уроков из плачевного состояния советского сельского хозяйства и из предшествующих попыток преодолеть его. Во-первых, укрупнение производственных единиц, предпринятое при Сталине, а потом при Брежнев, не привело к повышению производительности. Во-вторых, резкий подъем химизации и механизации в постсталинский период также не гарантировал успеха, поскольку после некоторого улучшения снова наступил застой. Простая формула — "чем больше вкладываешь, тем больше получаешь" — уже не работала. В-третьих, расширение услуг, предлагаемых "сверху" государственными организациями (и обычно оплачиваемых производителями и посредством государственных субсидий, через так называемые агропромышленные комплексы), также не улучшило положение дел. Напрашивался вывод: чтобы сельское хозяйство стало более эффективным, оно должно было быть дебиюрократизировано. В-четвертых, общепринятым было мнение, что в деле обеспечения продовольствием личные интересы крестьянина должны были согласовываться с общегосударственными; но ясно, что отдельно взятый крестьянин не подходил для местной бюрократии, контролировавшей услуги и снабжение. Вопросы производства и снабжения являются также и вопросами власти и контроля (отсюда и возрастание требований приватизации земель и попытки основать ассоциации мелких сельских производителей или даже Крестьянскую партию). В-пятых, снижение способности крестьян поставлять продукцию произошло и за счет повсеместного экологического кризиса. В-шестых, селективная миграция в город, забравшая туда более молодых, способных и образованных, резко сказалась на качестве сельского населения и его труда. Нужно было изменить саму природу общественной жизни на селе. Все настойчивее становились суждения о том, что острейшие проблемы застойного производства, огромные потери, неумение поставить товар — в нужном количестве, подходящего качества и по назначению — равно как и продолжающееся ухудшение окружающей среды, старение населения в деревне могут быть разрешены лишь постольку, поскольку в сельском хозяйстве "человеческий фактор" начнет играть другую, новую роль. Говорилось о том, что внедрение новых технологий, новых навыков и установление связи (через справедливое вознаграждение) между интересами индивидов и экономическими интересами государства важно, но само по себе еще не достаточно. Сельскому населению понадобится восстановить "чувство хозяина" (или, как сказали бы на Западе, стать субъектом, а не объектом социального и производственного процесса и политики). В обретении крестьянами власти и ответственности в их противостоянии бюрократической машине и ее "мелкопоместным царькам" радикальные реформаторы все больше видели один из способов спасти то, что нужно спасти, улучшить то, что нуждается в улучшении, и приумножить то, что следует приумножить, тем самым обеспечить в долгосрочной перспективе качественное улучшение общественного благосостояния.

Некоторое время казалось, что эта общепринятая перспектива сметет все на своем пути. Горбачев, в противоположность старой иерархии производственных форм (государственная собственность, управляемые государством кооперативы, семейные

хозяйства и капиталистическая экономика), объявил первые три формы равными по социалистическим критериям, то есть легитимными, и лишь четвертая форма считалась противоречащей им. Начиная с 1987 года "окрестьянивание" стало официальной целью советского правительства и "коньком" прессы. Сокращение бюрократического управления, восстановление действительных кооперативов и свобода семейного хозяйства были провозглашены главными государственными задачами преобразования деревни.

Возвращение Чаянова следует рассматривать в контексте дискуссии об альтернативных стратегиях в сельском хозяйстве. Оно вплетается в новую историографию, которая в сталинской коллективизации видит главное бедствие и основную причину многочисленных неудач советского сельского хозяйства. Она полностью подтвердила суждения Чаянова и наполнила новым содержанием предложенные им альтернативы. Положение о том, что при всем значении цен и вложений в сельское хозяйство следует также правильно определиться социально-экономические структуры фермерства, вполне согласуется с основными идеями Чаянова. Понятия "дифференциальные оптимумы", "вертикальная дифференциация" и предпочтение комбинации больших и малых производственных единиц в рамках самоуправляемых кооперативных структур непосредственно отвечали текущим требованиям. Они вписывались и в предлагаемый "третий путь" — как одну из социалистических альтернатив большевистскому государству, — который не был бы ни возвратом к прошлому, ни просто движением "на Запад". Для обозначения реформы в сельском хозяйстве использовался термин "кооперативная коллективизация" — фактически введенный Чаяновым. Но теперь "кооперативизации" подлежали колхозы и совхозы (а не семейные хозяйства, как в 20-е годы), то есть именно они должны были быть децентрализованы и демократизированы.

Ясно, однако, что идей как таковых, даже самых здравых, еще недостаточно для совершенствования мира. Советские экономические реформы в целом не состоялись, и особенно в сельском хозяйстве, что повлекло за собой рост общественного недовольства и утрату надежд как "наверху", так и "внизу". Любопытно, что в той среде, где усердно стараются забыть своих прежних идеологических наставников, для того, чтобы понять, что случилось с советскими реформами 1987-90 годов, нужно обратиться к Марксу. Взгляды Чаянова ставили под угрозу основные интересы властей предрержащих, владельцев советских "производительных сил" и привилегий. Что касалось сельского хозяйства, то здесь влиятельнейшее лобби выражало свой интерес мощным консервативным напором. Это была та самая группа новых контролеров, новых эксплуататоров, новых посредников, появление и характер которых Чаянов фактически предсказал, — именно они были главной причиной его возражений против сталинской коллективизации. Предпринятое Горбачевым ослабление государственно-партийного аппарата сделало их еще сильнее, и они не собирались сдавать свои позиции, фактически блокируя реформы. Перед опасностью острой нехватки продовольствия происходил важный идеологический сдвиг на другой стороне политического размежевания. Радикалы перестройки — ее "левые", каковыми они сами себя считали — колебались между двумя интерпретациями ситуации. С одной стороны, были те, кто видел будущее страны в некоего рода интеграции ее советского и несоветского прошлого и настоящего; с другой стороны, были и те, кто стремился выкорчевать режим, оказавшийся несостоятельным во всех отношениях. Первые говорили об изменениях, которые должны, наконец, выявить гуманистический потенциал социализма, тогда как другие черпали свои аргументы "на Западе", особенно в США. Каковы бы ни были причины — консервативные "палки в колесах", этические конфликты, личная слабость Горбачева или несоответствие ситуаций и программ, — но

впервые с 1988 года радикалы перестройка? столкнулись с реальностью утраты надежд на быстрое преобразование советского общества. Ужесточение экономического кризиса придало уверенности консерваторам. В рядах же самих радикалов это усилило тяготение к полностью свободному рынку — к тому, чему следовало "учиться у Запада", но о чем имелось самое смутное представление, которое вызывало недоумение у западных наблюдателей. Политическая баталия, в которой альянс консерваторов (коммунистов и лоббистов от бюрократического аппарата и крупных предприятий старого режима) сражался со "свободными рыночниками" почти образца XIX века, оставляла неоправданно мало места для политических программ и решений "третьего пути". На протяжении 1989-91 годов СССР в этом смысле двигался по пути, сходному с другими странами Восточной Европы. Таков контекст, в котором — что касается сельского хозяйства и деревенского общества — Чаянов, несмотря на его современность и профессиональное совершенство, не смог сокрушить оплот интересов правящей верхушки, равно как и упрощенных представлений о его теории.

Что было теперь делать с одним из светлых сынов России, чьи мученичество и заново открытые личные качества придавали ему нимб святого? Ответ: Чаянов был срочно "иконизирован". Все чаще его имя звучало с особым уважением и отодвигалось в сторону, перед ним преклонялись и тут же забывали, вешали на стену его портреты и никогда глубоко не вникали в его работы. Или его имя бесцеремонно поминалось для поддержки идей, которые ему и в голову бы не пришли. Или же его привлекали к символической игре истории, где задействованы "плохие" и "хорошие", и он причислялся к "хорошим", кто стоит "за русских крестьян" против "плохих" большевиков с их Карлом Марксом.

Не станет ли это благоговейное поклонение четвертой смертью Чаянова? Это будет зависеть от будущей истории его Отечества, неотъемлемой частью которой не может не быть сельское население и сельское хозяйство вообще. На самом деле Чаянов не был утопистом, в его аналитических инструментах и даже его "предписаниях" гораздо больше смысла, нежели в чем бы то ни было еще, имеющем теперь хождение в бывших советских республиках. Крот истории копает глубоко, и как показывает время, вновь и вновь именно сила оригинальной и реалистической мысли, равно как и ее носители, заставляют мир вертеться. Именно поэтому теоретическое наследие Чаянова переживет и его врагов, и его обожателей и сыграет свою плодотворную роль в сотворении будущего.

*Перевод с английского  
кандидата философских наук  
С.П.БАНЬКОВСКОЙ*